

Николай ВОРОНОВ

# Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134

## Смещенный Никита Сергеевич

Отнюдь не в 1965-м году он приехал в Калугу для знакомства со мной. Я уже уточнял это здесь. Приведу пример, разоблачительный для намеренного притворства Ткачки. Не мог, не мог он забыть того осеннего дня в снимаемой им комнате на Садовом Кольце, когда я понаведалься к нему. Два события тогда выпали на нашу долю. Довольно недалеко от нас проезжал на фургоне, запряженном в пару крупных лошадей американский фермер, о котором как о путешественнике на конях патетически трезвонили все СМИ планеты.

В ту минуту мы увидели американца, когда он выскочил из фургона, — лошади заартачились, пугаясь машин на шоссе и развязке, — и повел их под уздцы. Именно в этот момент мы услышали по телевизору, что снят с двух своих должностей: Первого секретаря КПСС и Председателя Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. Это было в октябре 1964 года.

Противоречивость правления Никиты Сергеевича: от возвышенного к низменному, от ничтожного к прометеическому, от иллюзорного к вдохновенно-мечтательному осуществлению, — не предполагало однолинейного восприятия того безграничного разнообразия дел, которым Хрущев занимался в хозяйствовании, в политике, внутренней и внешней, в идеологии труда, науки, воспитания, образования, права, в оборонной и космической футурологии, семейных и национальных установлениях, в обычаях народной культуры и ремесел, даже пытаясь вникать в искусство и литературу, когда выручательно: разрешение на публикацию поэмы «Теркин на том свете» Александра Твардовского и повести «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, — когда закручено нелепо, невежественно, как в истории со скульптурой Эрнста Неизвестного.

Выставку на Манеже Хрущев смотрел днем, а ночью перед Эрнстом извинялся его помощник, потом — и он сам; об этом мне рассказывала в Коктебеле мама Неизвестного — Бела Абрамовна Дежур, поэтесса, биологиня с лирическим склонением в научно-популярную публицистику.

## Родительские уроки сдержанности

Так вот, известие о смещенном Никите Сергеевиче, то произошло 14 октября 1964-го года (фигуры переходного периода трагически сложны), выхлестнулось из Ткачки злоречием, даже для меня, имеющего к Хрущеву претензии державно-партийного, всепланетно-гуманистического уровня: «...и в воду он бултых. Мелькнула только срака, и океан затах».

Целиком я не запомнил стихов, злопыхательно выкрикнутых Анатолием Сергеевичем, но и того достаточно, что в нем не проявилось и чуточной жалости, мигмом овладевающей в случаях чье-то несчастья славянской душой, и что захлебывался он стихами не просто злорадно, а с умиленностью по краям задраного

до наглости лица. Тем часом я ощутил и понял, что есть в нас несходство, чужеродность которого исключит из наших отношений дружбу, и это, увы, при моих всепрощенчестве и многотерпеливости. И потому дивно, Господи, читать мне теперь о возникновении нашего знакомства, отнесенного Ткачкой на годы, да еще заключенного в железобетон бессовестного самохвальства: «Встретил меня Воронов радушно, едва ли не с объятьями, похвалил какие-то недавние мои рассказы и особенно повесть «На отшибе», по которой, мол, страна узнала, что родился новый талантливый прозаик уровня Астафьева, Белова, Носова... Мне была предложена дружба вместе с лестным намеком, что в области лишь два значительных писателя — он и я».

Радушие — свойство моего рода по матери. Позаимствованное мною сполна, оно в истовой сдержанности распространялось на незнакомых людей и уж, конечно, оно не могло допустить объятия к чужому мужику. Мой отец Павел Анисимович и дед Анисим Михайлович с младенчества были мне уроком сдержанности в отношениях между собой и с мужчинами вообще. То же качество проявлялось в отцах и дедах барачной мальчишны, среди которой я рос, что было признаком их пола: казаков-воинов. Кроме того, станичные обычаи, — их красивая обузданность, — не допускали прилюдных объятий между девушками и парнями, между мужчинами и женщинами, между супругами.

Иногда, верно, я видел, как, встречаясь в пути или в гостях, мужики по-медвежьи облапывали друг друга, стало быть, пьянувшие, но не лабызались: мера у них в крови. И в праздники, если позволялось христосоваться, они не впадали в объятия и поцелуйность: тут явно сказывалось воздействие антирелигиозности большевистской революционной поры. Самим дьяволом изогнутый, замороченный, шизофренизированный Ткаченко сплутал меня с Леонидом Ильичем Брежневым, с евонной обнимчатой-слюнявой эрой, когда он, как полоумный повеса, бросался на шею властителей государств и стран.

Магнитка металлургов избавляла меня без осторожничания нажить врагов-недоброжелателей в столичном бомонде, окруженном околотературными чудовищами, избавляла меня от обнимок и лобызательности: отсекающим движением ладони. Я останавливал москвича, кем бы он ни был, — скромность провинциала помогала соблюдать чистоту мужского достоинства, — иногда я орал от возмущения:

— Не терплю у мужичков дамских привычек.

## О дружбе и соревновательности

На всем этом я задержался, чтобы вскрыть бесовскую изнанку дальневосточного хлыща, глущего без оглядки, вкривь и вкось, параноически забывающего о натуральном поведении человека, психологизированного свойствами его нации, его пола,



его времени, во всех их социально-общественных накоплениях. Допускаю, что я похвалил в 1965-м году какой-то рассказ Ткачки, может, и повесть «На отшибе»... Но чтобы я соотнес его литературный уровень с уровнем прозаиков Виктора Астафьева, Василия Белова, Евгения Носова, этого не было, потому что их таланты недосягаемы для него, о чем, разумеется, я не думал: несоизмеримость их замечалась подспудно, значит, вне сопоставлений. Стремления меряться сдарованьями кого-либо или соразмерять кого-то из писателей с кем-то из них у меня обычно не возникало. Ни са-

молюбия, ни эстетического лота для определения художественных глубин у меня не было. В основном писал я для собственного удовольствия, да и работалось мне невольно. Когда Валентин Катаев говорил, что утром, прежде чем сесть за письменный стол, он с жаром потирает ладонью о ладонь и про себя намеряет написать сегодня не хуже Льва Толстого, а то и лучше, я слабо верил в его соперничество с гением. Он был остроумцем, склонным к шутовству, лукавству. Моментами, однако, я доверял чувству его соревновательности: он раскашгарибал в себе азарт не по наглости, а ради того, чтобы сочинялось крупно, ярко.

Смехотворность заключается в том, будто мною была предложена Ткачке дружба. Школьной порой барачные пацаны и девчонки изредка, не без застенчивости, записками предлагали друг другу дружить. А взаимоотношения между собой мы, подростки, юноши, мужи семейств, не устанавливали договоренности: дружба — результат взаимоотношений, как правило, неназываемый, необсуждаемый, а определяемый в основном лично. Сколько я помню себя взрослым, столько помню, что ни с кем из сверстников у меня не поворачивался язык заговорить о дружбе. Но вместе с тем я помню, что довольно робко, до стыдливости, решал для себя вопрос, могу ли я кого-то из близких мне товарищей числить своим другом, или являемся ли мы друзьями? В этом особенность

моего происхождения и развития, в которой отпечатался мой казачий и горнозаводской Южный Урал.

И нет крохотной доли неправды в том, что я оторнул измышление Ткачки, навязанное мне, якобы «в области лишь два замечательных писателя, он и я». Такой оценки у меня не было, и подобных узколобых мерок я чуждался. Моей душе, моему человеческому и художественному вкусу были ближе другие писатели: прозаики Эрнст Сафонов, Алексей Шеметов, Ильгиз Кашафудинов, Владимир Кобликов, Михаил Лохвицкий, поэты Валентин Волков, Валентин Матюхин, Сергей Птиримов, Надежда Григорьева, Александр Куницын, Валентина Невинная, Анатолий Кухтин...

Гораздо раньше моя душа, мое этическое видение восхищенно склонялись к достижениям детского поэта, прозаика, переводчика с английского Валентина Берестова, который родился в Мещовске, начинал в Калуге, раньше Б.Окуджавы и Н. Панченки переехал в Москву. Непродолжительно познакомься в Коктебеле, мы, наверно, дружили с ним. Дар творческого разнообразия исчислял я в качестве главного достоинства индивидуальности. Но покоряющая душа изобразительная полноценность несколько скрадывалась, если этот творец не имел романтической специальности, близкой в своей поисковости к действию фантастичности. Из всех, кого я называл, имело для меня особое значение то, что Валентин Берестов был археологом и участвовал в раскопках, отразившихся в образной системе его прозы и поэзии.

## Знакомство с Птиримовым

Куда значимей для меня в этом смысле был Сергей Птиримов. Универсальность геолога, занимавшегося рудами и нерудными месторождениями в Средней Азии, Кольского полуострова, Карелии, Республики Коми, литературного краеведа, проникновенного историка самого многоохватного на земле Калужской, поэта, философа, публициста, сатирика, критика, прозаика, переводчика... При невероятной своей многосторонности, яркости, мудрости, рожденный в знаменитом селе Корекозеве, в славной крестьянской семье, он, публикуясь

в Москве и в тех краях, где работал, почти не печатался в родном краю, понятно, потому что был художественно-энциклопедичен и редок, а также невезуч: книга его стихов, запланированная к выходу в 1963-м году, не появилась — закрыли областное издательство. Тогда, перебравшийся в Калугу, я познакомился с Птиримовым. Сергей Федорович получил длительный отпуск: не отрывался от изысканий, будучи фанатичным геологом и неумолимым путешественником, что поименовывал словом «бродяжничество». Сергей заходил ко мне в контору, читал эпиграммы, баллады, поэмы, рубаи Омара Хайяма в своем переводе, оставлял на чтение кипы стихов, очерков, рассказов, эссе. Чаше заходил не один: с поэтом и переводчиком из Мурманска Владимиром Смирновым, который приезжал к нему погостить. Именно в тот год к Птиримову подобрали областные газеты: давали его стихи, статьи, исторические очерки...

Но почему-то охотнее они печатали Владимира Смирнова. Калужские журналисты и литераторы не очень жаловали Сергея Птиримова. Стремясь прошибить эту несправедливость, я всячески стремился ему помогать советами, редактурой, публикациями. Дабы утвердить его значимость и самосознание, писал отзывы на оставляемые им произведения различных жанров. Позже Владимир Смирнов в предисловии к поэтической книге Сергея Птиримова «Судьба бродячая моя» воспроизвел часть из них, поэтом я процитирую сам себя, чтобы опровергнуть фальшивую предположительность Анатолия Ткачки, будто бы я согласился, что лишь он и я два значительных писателя в области. Так я не думал, повторяюсь, а в случае с Птиримовым тем паче не мог думать, ибо у него уже в то время были драгоценные творческие накопления, коих достало бы на собрание сочинений. Он был весь в грядущем! Цитирую: «Сергей Птиримов — поэт емкого слова, художник такой стилистической сдержанности, которая является невольной противоположностью беллетристической длиннотности и вселенской болтовне. Именно о краткости, присущей Сергею Птиримову, можно сказать вслед за Чеховым, что она — сестра таланта. Человеческие судьбы, геологическая история Земли, красота природы — все находит у него тонкое, глубокое, метафорическое выражение... Читая стихи, поэмы, краеведческую прозу Сергея Птиримова, с отрадой вовлекаешься в его редкой нравственной чистоты чувство к нашим замечательным пращуром в лице крестьян, архитекторов, писателей, философов, в его добросердечное отношение к цветам, птицам, детям, женщинам, старым людям, к нашему Отечеству. Исконный русский житель Центральной России, он преисполнен истинного уважения к людям других национальностей. Его поэма «Про Тыковилку» обладает не меньшей психологической проникновенностью, дружественностью, изобразительной монументальностью, чем сценарий Юрия Казакова о ненецком художнике, сказочнике, мудреце. Птиримов сложился давно как настоящий поэт, прозаик, эколог высокой гражданственности»

Продолжение следует

> Более подходит нравственно хорошему человеку высказать свою честность. АРИСТОТЕЛЬ